

В ЭТОМ ВСЕ ДЕЛО

Встреча с Василием Беловым все время откладывалась. Не подозревала, что жизнь писателя обременена столькими профессиональными и общественными обязанностями: семинары, конференции, встречи с читателями или коллегами — порой на другом конце страны. Но если чаще можно найти оправдание тому, почему не удалось встретиться с Валентином Распутиным или Виктором Астафьевым — все-таки Сибирь, другой континент, то Вологда-то рядом, и я не хотела примириться с мыслью, что не смогу побеседовать с Василием Беловым.

Говоря честно, не о самолюбии писателя беспокоилась я. Сам он, скорее всего, просто не обратил бы внимания на то, значится или нет его имя в оглавлении этой книги. Дело в другом. Дело во внимании и уважении ко взглядам и чувствам тех людей, которые стоят за личностью каждого литератора, Белова в том числе. Тех, ради кого он избрал нелегкую писательскую судьбу. Тех, чья жизнь позволила раскрыться таланту и наполнила его смыслом. Кстати, именно у Василия Белова я встретила такое понимание истоков и предназначения таланта.

Стихия народной жизни пестует миллионы умельцев, а в их среде прорастает разветвленная грибница мастерства, которая рождает с десятков художников, а в том десятке объявляется вдруг талант, способный выразить идеал народного представления о прекрасном. Не имеет, в сущности, значения, в какой творческой области произойдет это чудо — станет ли человек строить храм, в пропорциях которого зазвучит гармония жизни, начнет ли писать лики своих земляков, и сквозь их черты глянет на нас веками выстрадавшая мудрость, сядет ли за книгу, которая заставит нас тосковать по этой гармонии и по этой мудрости и страстно искать их. Творчество такого человека поднимется над повседневными делами. Эту вершину станет видно всем издалека. На нее первую падет луч солнца, еще невидимого с земли. И когда придет время и все погрузится в ночь, вершина по-прежнему станет сверкать чистотой, и, глядя на нее, мы будем знать, что свет не померк навсегда. Но при этом, как бы высоко ни поднялся талант, как бы ни сверкал чистотой, он всегда будет сделан из того же материала, что и основание вершины, поднявшее ее. Так, читая прозу Белова, его размышления о природе и предназначении человека, я воссоздавала историю его таланта.

А что он сам думает о себе?

Один мой коллега рискнул прямо спросить об этом у Белова и, кажется, застал его врасплох:

«Да не думал я об этом. Я работал — этим делом не... Мне просто хотелось сказать... защитить земляков своих. Родных и близких. Которые столько вынесли и... Заслуживают большего внимания...»

Кто-то из великих музыкантов говорил, что дело жены гения — постоянно повторять ему, что он — гений. Так и от писателя, близкого нам человека, которого мы допускаем до самых интимных наших дел и

мыслей, мы, в сущности, ждем того же. Человеку необходимо, чтобы кто-то постоянно доказывал ему его неповторимость, защищал его достоинство, его красоту. Защищал их порой от самого человека. Дело это, понятно, не всегда простое, очень часто — неблагоприятное, в чем не раз убеждался Белов. В последний раз — когда вышел его роман «Все впереди».

Здесь я не стану взвешивать достоинства и недочеты этого произведения, у него и без меня достаточно ценителей и хулителей. Вспыхнувшая между ними полемика, во многом, на мой взгляд, бессмысленная, а порой совсем близко подходившая к грани, которая отделяет заинтересованную дискуссию от глупой перепалки, имела, однако, и свою положительную сторону. Теперь, наконец, для всех стало ясно или, по крайней мере, должно было стать очевидным, что не по «косарям, дружно, с песнями выходящим на луга», как попытался уколоть Белова один критик, тоскует писатель. И мечутся его герои не между городом и деревней, которые в глазах приверженца упрощенных схем должны олицетворять соответственно консервативное и прогрессивное начало. Герои Белова мечутся между прошлым и будущим, в деревне ли, в городе ли, в поисках своего лада жизни, который бы воссоединил их поступки и замыслы, повседневность и идеалы в единый поток, в единое ощущение мира.

«Мир раскололся, и смешней всего, что должен — я! — восстановить его...» Эти строки написаны Шекспиром и о нас. Архитектоника человеческой судьбы не изменилась за прошедшие с шекспировских времен четыре века. Так не изменится она и за тысячу лет, и за тысячу веков, пока будет жив человек.

С чем сравнить его?

Человек равен только человеку. Любое иное сравнение будет неполным и не объяснит тайны внутренней жизни человека, даже если удалось бы пересчитать краугольные камни традиций, лежащие в ее основании, познать секрет стойкости убеждений, задержать хоть ненадолго переменчивые чувства, выявить все живые нити и ветви, связывающие личность со всем миром и с другими такими же творениями, уходящими в глубь земли и времени и поднимающимися почти до небес и вечности и вместе с тем находящимися в постоянном движении, если бы нам удалось все это... Нет, не удастся, к счастью, никогда. Но и нынешнего понимания должно быть достаточно, чтобы уяснить: тронь хоть камень, обруби хоть одну ветвь, толкни, ударь по этой гармонии — и зашатается, теряя равновесие, мир.

Наш век сдвинул не одну глыбу и не в одной судьбе. Миллионы людей устремились на поиски утраченной цельности. Искали, кто-то находил, кто-то снова терял. Ищут.

«Мир раскололся...» Это — и о Белове. Разлом прошел через судьбу, через сердце писателя не только в идеальном, поэтическом смысле. «...Корни моего родословного дерева подрублены, они ушли на шпалы



железной дороги, сгорели в жестоком военном костре, и я теперь не крестьянин, — говорил он о себе. — До самой великой войны мой отец жил, раздираемый противоречивыми чувствами. Из деревни бежал в город, из города тянуло обратно. Ни там, ни тут не был хозяином своей судьбы, — последние слова Белов произносит с ударением: в этом все дело. — Фашистская пуля поставила точку на всех отцовских противоречиях, и теперь мне приходится расхлебывать эти противоречия. Смогу ли, хватит ли у меня сил?»

Писатель не знает, хватит ли у него сил, чтобы восстановить единство мира, но цель не вызывает сомнений: «...должен — я! — восстановить его».

Писатель сомневается в собственных силах. А мне вспоминается история о том, как Дон-Кихот освобождал каторжников и что из этого вышло. Поэтому вопрос обращен прежде всего к нам, к его землякам по месту и, если можно так сказать, времени действия нынешнего акта истории: хватит ли сил у нас?

...Об этом я думала, набирая в очередной раз номер телефона в Вологде и снова готовя слова извинения терпеливой супруге писателя. Неожиданно ответил сам Белов. Накануне он вернулся из Сибири, со встречи, которая стала известна как «байкальский форум». Естественно, я не удержалась от комплиментов:

— Сегодня наши писатели переживают, можно сказать, свой «звездный час». Они повсюду впереди, нет проблемы, по которой они не

спешили бы сказать свое слово: экономика, экология, право, международные отношения, семья, история... Вас все волнует и до всего вам есть дело. Остается только восхищаться силой гражданской ответственности, широтой кругозора, смелостью, с которыми вы, писатели, поднимаете и пытаетесь разрешать самые острые вопросы нашей жизни.

— Это просто безобразие, что писатели должны сегодня заниматься всем. Вот я вернулся с Байкала... Мы там пытались решать вопросы, связанные со спасением этого уникального озера, ну и шире — вопросы взаимоотношений человека и природы. В том числе, естественно, производственные и научные стороны этой проблемы. Разве этим должны заниматься писатели? А где же ученые? Им бы сейчас засучить рукава... Я уж не спрашиваю, где они были раньше.

— По-моему, вы несправедливы к людям науки. Я назову вам имена ученых, которые очень часто выступали и выступают по экологическим и другим проблемам, имеющим общественную значимость, участвуют в различных комиссиях, комитетах, в том числе и самых авторитетных, престижных, и у нас дома, и за рубежом.

— Не надо мне их называть, они и без того так часто мелькают то в газетах, то по телевидению, что... А дело где? Сложилось неправильное положение: кто действительно мог бы делать дело и делает его, оказался лишенным слова — его место на трибуне прочно захватили те, кто больше поднаторел в разговорах и представительских манерах. И место это вроде бы уступить не собираются.

— Естественно, я разделяю ваше негодование по поводу такой несправедливости...

— Тем более, что существует она не только в науке. Формальная и нравственная иерархия авторитетов никогда не совпадала полностью. Но должно же быть хотя бы стремление к их слиянию, к идеалу!

— Должно. Однако разделяя ваши чувства, думаю все же, что вы преувеличиваете масштабы феномена.

— Если бы...

— Хорошо, не будем спорить. Тем более, что меня больше волнует не то, что было, а то, что может нас ожидать впереди. А вот тут, боюсь, нас как раз подстерегает опасность того, что любителей поговорить станет больше. Не получат ли с развитием демократии простор демагоги? Не утонет ли перестройка в словах? Вот чего я опасаясь.

— Да, здесь что-то не так... Получается, что демократия может погубить... демократию? Ведь это тоже не демократия, когда любой горлопан может взять верх. В старину люди умные просто уходили, когда на сходе начинались галдеж и крики.

— Уйти — не выход. Этому, по-моему, уж должен был научить нас тот период, который теперь мы называем годами застоя.

— С демократией дело сложное. Право каждого подняться на трибуну — это еще не демократия. Надо вернуть ей ту внутреннюю эстетику, которая когда-то была душой русского схода — его открытость, непосредственность. У демократии нет худшего врага, чем бюрократическая демагогия. Кстати, «демократия» и «демагогия» от одного корня: демос. В словаре иностранных слов 1861 года слово «демагогия» объяснено как господство черни в делах государственных. Демагог — приверженец революции, написано в этом же словаре.

Когда-то на сходе не было ни президиума, ни протокола. Участники собрания говорили честно, открыто, что думали, — слово к делу не подошьешь. Ум человека, чувство справедливости и здравый смысл его суждений были видны всем, а с такими аргументами крикунам не совладать. С введением же протоколирования изменилась не только форма, переменилась сама суть собрания. Его участники начали говорить осторожно, и так и сяк, в конце концов многие поборники справедливости вообще перестали высказываться. Горлопанам же стало привольно.

Между прошлым и будущим

Время течет, все изменяя, и стрелки часов преданно отмеряют его движение — время идет и уходит.

Иногда мне начинает казаться, что часы изобрел злейший враг человека. Одно качание маятника — секунда безвозвратно ушла в вечность; еще один прыжок стрелки — еще одно мгновение пришло к нам из вечности. Еще. И еще. Все проходит. К чему стараться, если прошлое уходит безвозвратно, если будущее наступит неизбежно.

Нет, часы — механизм, часы — игрушка, и человек — с тех пор как он осознал себя человеком, — восстает против чувства собственного бессилия перед временем и безответственности перед историей. «Человек во все времена ищет своей автономии, своей свободы и, увлекаемый необходимостью, *хочет делать лишь то, что ему хочется*; он не хочет быть ни пассивным могильщиком прошлого, ни бессознательным акушером будущего, и он рассматривает историю как свое свободное и необходимое дело». Будь моя воля, я выдавала бы школьные аттестаты лишь за удовлетворительное сочинение на эту свободную тему, предложенную А. И. Герценом.

Деятельность человека объединяет прошлое и будущее и придает времени положительную направленность — без воли человека, этого субъективного фактора истории, слово «будущее» просто потеряло бы смысл и время превратилось в чередование событий. Дело, деятельная натура человека — вот истинная пружина механизма времени. Дело, опыт, знания, которые позволяют человеку сделать новый шаг к совершенствованию своей жизни, — вот самый верный хронометр истории. Он отсчитывает ход прогресса.

— Своим предыдущим ответом вы отчасти опередили мой главный вопрос, вокруг которого я намеревалась построить всю беседу с вами. Поэтому спешу задать его. Вас часто упрекают в том, что в поисках будущего вы обращаетесь к прошлому. А новое, принципиально новое не приемлете.

— Вы хотите сказать — прогрессивное?

— Новое или прогрессивное, здесь нет разницы.

— Неправда. Новое вовсе не всегда бывает прогрессивным.

Вот я вижу, что вы, кажется, тоже не очень жалуете бюрократов. А ведь бюрократ — первейший сторонник всяких новшеств. Вы не задумывались, почему у бюрократов прямо-таки зуд какой-то — только дай начать какую-

нибудь кампанию, какую-нибудь реформу? Разумеется, замечу в скобках, не настолько серьезную, чтобы она обернулась против самого бюрократа.

Бюрократу как рыбе вода нужна атмосфера неустойчивости, постоянных перемен, чтобы прикрыть ими свою некомпетентность, свою лень, свое неумение. Начал, затеял какое-нибудь дело, а ничего не получается, дело не идет. Как быть? Признать свои ошибки? Зачем, проще начать новую кампанию, все равно какую — будь то соединение мелких деревень или поворот рек. Опять не получается? Не беда. Зажжем, поднимем людей на новое дело, наобещав им с три короба. Хотя вовсе не выполнение обещанного, не будущее интересует при этом бюрократа. Для него важно ломать, уничтожать то, что есть, и обязательно под корень, чтоб и сравнить было не с чем. Для не умеющего или не желающего признавать свои ошибки всегда велико искушение начать все сначала...

— Но если так настороженно относиться к реформам, то, пожалуй, в конце концов придешь к мысли, что всякие перемены вредны вообще, и лучше оставить все, как было, и что не перестройка нам нужна, а наоборот.

— Сводить перестройку к обыкновенной реформе общества значит принижать ее смысл и значение. И дело не в реформах как таковых, а в той цели, ради которой они начаты. Цель же эта, как мне представляется, — привнести в нашу жизнь стабильность, постоянство, надежность.

Почему бюрократы противятся перестройке? Потому что они, может быть, даже лучше некоторых из нас поняли смысл происходящих событий, и по такой их реакции мы, кстати, можем судить, что находимся на верном пути. Дух постоянства и прочности, память, соблюдение добрых традиций для бюрократа то же самое, что солнечный свет для филина. В условиях постоянства сразу обнаруживается несостоятельность и репетиловщина, становится невозможным дутый авторитет, уже нельзя пускать пыль в глаза, отделаться бойкой речугой.

Ну а то, что мне будто бы больше по душе прошлое, а не будущее... Это неверно. Я за будущее, которое лучше старого.

Только мне хочется, чтобы в этом будущем сохранилось место и для семи тысяч деревень нашей области, которые списаны бюрократами.

— То есть деревенскому укладу жизни?

— А чем он вам не нравится? В вас тоже говорит какая-то недобрая предвзятость, заведомая недоброжелательность по отношению к деревне, которые встречаются среди интеллигенции. В деревне видят среду, поставляющую обществу косные, сопротивляющиеся прогрессу силы, а деревенский житель объявляется эдаким олицетворением частнособственнических пережитков.

— На то, надо полагать, есть причина. Мнение, тем более столь распространенное, как вы говорите, не может возникнуть просто так, из ничего.

— Может.

— Видимо, крестьянин по своему объективному положению в обществе более чем кто-либо другой предрасположен к отсталой, частнособственнической психологии.

— Не согласен. Объясните мне, почему корова и свой дом в деревне это собственническая психология, а дача, машина, квартира в городе это нечто иное?

— Согласитесь, однако, что деревня мало-помалу отживает свой век, тысячи опустевших деревень — очевидное, бесспорное свидетельство тому.

— Да нет, они свидетельствуют только о том, до каких бед могут довести псевдопрогрессивная остроота ума вкупе с бюрократической тупостью. В свое время многих из нас удалось-таки убедить в том, что превращение деревни в город — великое благо и достижение. Не старания поднять материальный уровень жизни на селе до городского, а именно попытки либо сравнить деревню с городом, то есть лишить ее производственного, бытового и прочего своеоб-

разия, либо уничтожить ее совсем. Попытки эти не увенчались особым успехом. Но если бы деревню все же удалось лишить ее главной сути, общество просто-напросто подрубило бы сук, на котором сидит. Деревня и город — два разных мира, необходимых друг другу. Здесь неуместно категоричное «или-или». И деревня и город имеют собственное социальное и эстетическое предназначение и одинаково необходимы для здоровой и гармоничной жизни общества. Научно-технический прогресс мы часто путаем с прогрессом нравственным, а это не одно и то же.

— Ведь вы, однако, не просто защищаете и утверждаете самобытность деревенского образа жизни. Вы часто, даже, пожалуй, все чаще обращаетесь к ее прошлому...

— Это потому, что мы склонны забывать, что и до нас жили люди...

Вперед-то шагнуть можно лишь тогда, когда нога от чего-то отталкивается. Движение от ничего или из ничего невозможно. По моему глубокому убеждению, знание того, что было до тебя, необходимо. Ведь воспитывают человека не министерские приказы и не школьные реформы, а вся жизнь, в том числе и та, что была до твоего появления на свет.

— Все же принято воспитывать на достойных, положительных примерах. А в прошлом всякое бывало, бывало и такое, о чем сегодня приходится жалеть, чего теперь мы стыдимся.

— Бывало всякое. Но каждый выискивает и находит в этом прошлом то, что ему хочется найти.

Чем прекрасен мир

«Красота спасет мир». Таинственная формула не перестает будоражить умы, и продолжается поиск ее неразгаданного смысла. Он начался задолго до того, как великий писатель взял перо, чтобы передать ее следующим поколениям. Свидетельства тому мы встречаем повсюду, где человек оставил свой след: в Афинах, Реймсе, на плоскогорьях Тибета и в долине Нила, на острове Пасха и в русской деревне, где над крышей

избы взлетел деревянный резной петушок, посрамляя прагматиков, уверяющих себя и других, что нет ничего загадочного в этом стремлении человека к красоте и гармонии,— прекрасно то, что полезно:

«...Наше чувство прекрасного, эстетическое удовольствие и хороший вкус — все это освоенный подсознанием опыт жизни сотен тысяч предыдущих поколений, направленный к выбору наиболее совершенно устроенного, универсального, выгодного для борьбы за существование и продолжения рода», — так обосновывал подобную точку зрения один из героев романа И. Ефремова «Лезвие бритвы». Ему нельзя было отказать в логике: «Красивы длинные ресницы — так ведь именно они наилучше защищают глаз...» Но хочется протестовать и плакать, когда вот так срывают покровы, а потом и кожу с того, что вызывает музыку в твоей душе, и оставляют на месте прекрасной тайны, которая должна спасти человечество, голый скелет рычагов и приводных ремней. Нет, не все может и должен объяснять нам рациональный рассудок.

Но неожиданно наше время дает новый аргумент сторонникам теории прекрасной полезности. И в то же время разрушает ее.

Кто из нас не любовался прекрасными обводами океанского лайнера? Или удивительной законченностью силуэта сверхзвукового самолета? В нем нет ни одной лишней детали, ни одного ненужного изгиба. Все предельно рационально, и форма радует глаз. Но у кого повернется язык сказать «это — прекрасно!» при взгляде на такой шедевр рациональности, как ядерная ракета? Эстетическое чувство намного раньше рассудка распознало здесь противоречие между обманчивой формой и ценностью содержания. Красота не может служить уничтожению человека.

Мне кажется, в формуле красоты, спасающей человечество, есть один несложный секрет, который если и не раскроет тайну до конца, то, во всяком случае, укажет направление поисков. А заключается он в том, что красота не терпит потребительского отношения к себе. Она лишь снисходительно терпит взгляд равнодушного, пустого зрителя, занятого мелочными заботами о собственном благополучии, и подождет другого, того, в чьей душе прекрасная гармония может разжечь жажду новой красоты, и ему раскроет свою тайну, которая лишит человека покоя, и он примется за дело, утверждая свое творческое «я» и будоража новых творцов. И протянется эта цепочка бесконечно далеко, спасая человеческие сердца от зла, и станет продолжаться бесконечно долго, потому что бесконечно разнообразны проявления прекрасного. Мне кажется, именно это имел в виду Василий Белов, когда писал о неистребимом народном стремлении к разнообразию: «Мир для русского человека не тем хорош, что велик, а тем, что разный — есть чему поучиться».

— Что вы ищите, когда обращаетесь к прошлому?

— Конечно то, чего, на мой взгляд, не хватает современному человеку: гармонию, единство мира. Красоту.

Дело в том, что народная жизнь в ее всеобъемлющем, идеальном смысле отличалась цельностью: мир для человека являл собой единое целое — об этом я подробно написал в «Ладе». Если интересно, вы можете...

— Я очень высоко ставлю эту вашу работу и, кажется, могу почти нанузито цитировать ее. Если не ошибаюсь, вы писали так:

...Столетия гранили и шлифовали жизненный уклад. Все, что было лишним, или громоздким, или не подходящим здравому смыслу, национальному характеру, климатическим условиям,— все это отсеивалось временем. А то, чего недоставало в этом всегда стремившемся к совершенству укладе, частью постепенно рождалось в глубинах народной жизни, частью заимствовалось у других народов.

...Жизнь была упорядочена и устойчива, все имело свой смысл и свое имя: добро называлось добром, зло — злом. Все было взаимосвязано, и ничто не могло существовать отдельно, всему предназначалось свое место и время. При этом единство и целостность не противоречили красоте и многообразию. Красоту нельзя было отделить от пользы, пользу — от красоты.

Я могла ошибиться в словах, но главное, надеюсь, передала верно. Однако, не скрою, поначалу у меня мелькнула одна мысль, которая, наверное, приходила в голову и другим читателям: верно, человеку действительно очень недостает целостности мироощущения; но если мы превратим традицию в нерушимый закон, то откуда возьмется то новое, то вечное изменение, которое и составляет прелесть жизни?

— Насчет прелестей жизни — разговор долгий... Но традиция и внутреннее единство не противоречат ни духовно-эстетическому, ни физическому разнообразию. Наоборот — содействуют ему. Вы уподобляетесь тем, с позволения сказать, исследователям народного быта, которые упорядоченность принимают за статичность, а устойчивость называют неподвижностью. Об этом я, кстати, тоже писал в «Ладе». Видимо, должен повториться.

Народная бытовая стихия не терпит ни единообразия, ни ординарности, она все время в движении. Да и какая может быть одинаковость, если в народе есть мужчины и женщины, девушки и парни, дети и старики, красивые и не очень, трудолюбивые и не очень, преуспевающие и терпящие лишения. Какая уж там статичность, если толь-

ко в природе ни один день не повторяет вчерашний, и сама природа утверждает постоянную смену состояний и впечатлений. А у сельского жителя почти все дела неразрывно связаны с природой, природа же ритмична и переменчива и в то же время цельна: одно вытекает из другого, и все неразрывно связано между собой. Это в союзе с природной гармонией сельский житель создавал гармоничную красоту своей души.

По тем же законам гармонии и ритма строилась и общественная жизнь в русской общине: быть вместе с миром не значило быть похожим на всех. Разнообразие частей было главным условием существования целого. Это как в музыкальном оркестре — ритм позволяет звучать каждой мелодической индивидуальности. Сбивка с ритма — это болезнь, неустройство, разлад, беспорядок, хаос, смерть. Но бывают ритмы и разрушительные...

— Слушаю вас, и хочется верить вам, ведь вы даете ответы на самые важные вопросы, которые мучают сейчас нас всех, без преувеличения все человечество: как строить отношения и с природой, и человеку с человеком, и человеку с самим собой. Хочется вам верить, а не могу. Ведь не было никогда такого цельного человека, о котором вы говорите.

— Почему же? Были и такие.

— Не могло быть! И нет пока.

Причин, противоречий, мешающих осуществить мечту об идеальной жизни, множество, каждый человек, наверное, назовет свою. Я — свою: отношение к труду.

Посудите сами, о какой гармоничной цельной личности можно вести речь, если сама жизнь для большинства людей поделена, так во всяком случае мне представляется, надвое: на время, по необходимости отданное труду, работе, и так называемое свободное время, занятое домашними делами, отдыхом, восстановлением сил, развлечениями? И разрыв между двумя этими «жизнями» вроде бы не сокращается.

Некоторое время назад на Западе даже появилось такое понятие — «цивилизация досуга» в противопоставление, надо полагать, «цивилизации труда». Мы, естественно, разоблачили и заклеили эту разрушительную концепцию, ориентирующую человека на потребительское отношение к жизни. Однако вскоре обнаружили, что те же тенденции дают о себе знать и в нашем обществе и что одних разоблачений недо-

статочно для преодоления «философии досуга». Попытки как-то организовать и придать смысл способам проведения свободного времени тоже нужны и похвальны сами по себе, но... Естественно, необходимы и клубы по интересам, и дискотеки, но я не уверена, что тот, кто провел вечер в дискотеке, на следующее утро с большим энтузиазмом поспешит к станку, чем тот, кто убивает время у телевизора.

— Я тоже не уверен.

— И проблема остается. Последовательное применение принципа материальной заинтересованности работающего способно, конечно, стимулировать человека, заставить работать лучше, но вряд ли может сделать труд внутренней потребностью человека — и в этом случае труд останется лишь средством для поддержания жизни, источником зарплаты, то есть вынужденной необходимостью.

Проблему, видимо, удастся разрешить, лишь изменив характер труда, — благодаря научно-техническому прогрессу. Но каких высот должна достичь техника, чтобы сделать труд каждого человека на каждом рабочем месте занятием легким и приятным! Трудно даже предположить, сколько для этого потребуется времени. А вы говорите о гармонии души и жизни, которые-де давно известны сельскому жителю. Разве не от тяжести труда бежит он в город?

Вот вы пишете, что труд тяжел и непосилен только тогда, когда он подневольный, когда ты неумен и недогадлив, когда не хватает фантазии и терпения, когда не умеешь трудиться красиво.

А Герберт Уэллс, которому тоже не откажешь в проницательности и глубине мысли, утверждает иное. В своих заметках из серии «Англичанин смотрит на мир» он писал, что преклонение перед трудом — это атавизм раба и его предстоит изжить человечеству.

— Неправда. С труда-то все только и начинается в жизни — и смысл ее и красота. Мне непонятна угроза библейская: «В поте лица будешь добывать свой хлеб». Чем это плохо — в поте? Плохо, когда не «в поте».

Я не фантаст, я исхожу из своего опыта, из опыта и традиции своего народа и убежден: тяжесть труда существует и она непреодолима лишь для бездарного труженика и у него порождает отвращение к физическому труду. Нет, с труда, с посильного физического труда, все начинается. В труде к человеку приходит ощущение выполненного долга, ощущение причастности к ближнему и ко всему

миру — все это вызывает облегчение, радость. Усталость тоже бывает приятной.

— Извините, я прерву вас. По-моему, пришло время задать один вопрос, который не обойти в беседе с вами и который в последнее время довольно часто сопровождает дискуссии о вашем творчестве. Не знаю, как вы отнесетесь к нему, и все же рискну задать его.

Утверждая ту или иную концепцию, тот или иной взгляд на вещи и явления, вы подкрепляете их обращением к собственному опыту и к народной традиции.

— Естественно. Только не надо ставить знака равенства между лично моим жизненным опытом и... Стихия народной жизни необъятна и ни с чем не соизмерима.

— Так или иначе, но в центре вашего творчества всегда находится судьба русского человека, русской общины, русского народа.

— Ну не африканского же. Родился-то я в вологодской деревне, на русской земле. Только откуда это ваше «но», и что оно означает?

— Дело в том, что некоторые читатели, да и критики тоже, склонны видеть в вашей приверженности русской традиции некий национальный эгоцентризм, а кое-кто из них, бывает, даже принародно обвиняет вас в национализме.

— Чушь какая... Любовь к Родине, к родной земле — неотъемлемая часть любого национального характера. Родина для русского крестьянина, например, начиналась с родной деревни, где он всегда мог найти и понимание и сочувствие. И прощение... ежели нагрешил.

Любовь к родной земле и уважение к обычаям своего народа никогда не означали, что можно с высокомерием и пренебрежительностью относиться к иным народам, зариться на их права и земли — об этом я тоже писал. Не в русском это характере. Общественное мнение на Руси никогда не жаловало спесивцев и злодеев. Да и кровное родство людей разных национальностей не считалось у русских грехом ни в языческие времена, ни позже. Хотя, правда, и не поощрялось особо.

Короче, слово «мир» в русском языке издревле означает и мироздание, и беззлобие, и дружбу между народами и людьми, и спокойствие, и гармонию.

— А разве не было в нашей истории Ермака?

— Нужно все-таки различать две вещи — государственную политику и национальный характер. Они далеко не всегда совпадают. Вот вы вспомнили поход Ермака... Примеры же совсем иного порядка не вспомнили. Древние новгородцы, двигаясь на восток и на север, не были по своей сути завоевателями. Высокий пример бескорыстия в отношениях с инородцами подавал Стефан Пермский, создатель зырянской азбуки. Зырянские и русские поселения до сих пор стоят бок о бок. Военные стычки русских с угро-финскими племенами были очень редки.

Странная все-таки это вещь, человеческая память. Ну почему мы более внимательны к международному антагонизму в истории, чем к свидетельствам дружбы и сотрудничества народов? Их куда больше, без них мир давно бы погиб. Таких отношений сотрудничества требует от людей хотя бы чувство самосохранения. Ведь не обязательно уничтожать дом соседа за то, что он не похож на твой. Наоборот, ты можешь остаться самим собой, утвердить свою индивидуальность только тогда, когда есть сосед, на тебя не похожий. Как ты узнаешь себя сам, если все люди будут одинаковы?

— Спасибо за ясный ответ. Теперь, если не возражаете, вернемся к тому, на чем я вас прервала, — вы говорили о труде, о том, что он не может быть тяжел, если работаешь с охотой и душой.

— Да. В труде, в плодах его происходило в первую очередь самоутверждение личности. Мастер — будь то плотник или сапожник — всегда старался сделать не только добротнее, но и красивее, чем сосед. Дух состязательности присутствует во всех народных промыслах.

Труд для крестьянина отдельно не существовал, в сельском быту он просто незаметен — жизнь едина.

— Да, я помню это место из «Лада». Явление это настолько, по моему, редкое в наше время, что я запомнила и эти ваши слова: «И труд, и отдых так закономерны и так не могут друг без друга, так естественны в своей очередности, что в этом жизненном единстве труд воспринимается не как тяжкая необходимость, а как нечто естественное, привычное, поэтому незамечаемое».

— Этого, кстати, не понимали многие народные заступники...

— Вы меня все-таки не убедили. И сами в этом виноваты: я прекрасно помню, например, ваши описания уборки льна или его обработки — тяжелый, монотонный, изнуряющий труд. Может он быть привычным? Конечно. Незамечаемым?..

— Я уже говорил на эту тему... Какая же монотонность, если там сотни совершенно разных операций?

— Еще об одном я хотела сказать в этой связи. Помню одно исследование — его результаты были опубликованы лет десять назад, — в котором социологи с цифрами в руках доказывали, что народному хозяйству нужны не фантазеры, отвлекающиеся на «лишние» мысли, а люди средних способностей и стремлений — у них выше производительность труда при выполнении однообразных, монотонных операций. Что вы скажете на это?

— Скажу, что в крестьянском быту, например, чисто механические, однообразные, раз и навсегда заученные движения делали одни дураки. То, что производительность труда у таких выше — в это трудно поверить.

Сама монотонность труда должна толкать нормального работающего к творчеству, к искусству, либо заставлять разнообразить сами изделия...

— Но это совершенно немыслимо при современном поточном производстве.

— ...либо разнообразить способы их изготовления. Разнообразие, я снова повторю, — это условие жизни, поэтому хочет того кто-то или нет, творчество проявляет себя всюду, где существует жизнь. И труд нормального человека в нормальных условиях ни может не быть и должен быть творческим.

— Ну не все же таланты, способные к творчеству.

— Такой взгляд может устраивать только сторонника деления общества на личность и толпу. Устраивает он и бюрократа-догматика, который готов расставить всех людей по ранжиру. А люди все разные, и у каждого свой талант. Не бывает абсолютно бездарных людей! Потребность в творчестве у человека так же естественна, как потребность пить или есть. И я утверждаю, что любой труд, уже сам по себе, содержит творческое начало.

— Однако давно и твердо установилось деление на труд физический и труд интеллектуальный, и считается, что в основе такого деления — именно возможности для творчества, которые открывает то или иное занятие. В профессиях, связанных преимущественно с выполнением физических работ, таких возможностей меньше, в интеллектуальных профессиях — больше. Вот и вы тоже ведь выбрали профессию литератора, а не пахаря. Наверное, потому, что в литературе вы почувствовали возможность большей творческой свободы?

— Должен вам сказать, что писателями становятся не от хорошей жизни... По крайней мере, со мной было именно так. Впрочем, я до сих пор не очень уверен, что мне обязательно нужно быть писателем...

Что до интеллектуального труда, то его тоже нельзя вот так без разбора называть творческим — только потому, что работнику умственного труда не надо мешки таскать. Примеров нетворческого интеллектуального труда сколько угодно. Конечно, гармоничное сочетание интеллектуальных и физических усилий в труде нередко нарушалось и в крестьянском быту. Чаще всего в сторону увеличения физических усилий. Но нарушение в другую, в интеллектуальную сторону ничуть не лучше, если не хуже. А физкультуру и спорт нельзя называть трудом, это нечто иное. Не в том дело, какой именно работой занят человек. Драгоценное вдохновение возможно в любой работе, если душа человека созвучна ей.

— Итак, вы утверждаете, что каждый человек талантлив уже потому, что он человек. В таком случае, почему так редки таланты? Не потенциальные, а реальные, те, что открылись людям.

— Во-первых, не редки. А не открыты потому, что люди занимаются не своим делом, то есть не научились жить и трудиться. У каждого, кто загубил свой талант, найдутся, конечно, свои причины на то. Только никого эти причины оправдать не могут, игнорировать собственный талант, глушить творческие порывы просто безнравственно.

Чаще всего это делается под маской скромности — где уж, дескать, нам! А за маской-то обычная трусость либо обычная лень, и человек одевает эту маску исключительно для того, чтобы иметь возможность пользоваться созданным до него, даже не пытаясь создать что-то свое.

— Вы, по-моему, слишком строги к людям. В конце концов, многие, надо полагать, искренне думают, что им не под силу создать что-нибудь действительно свое, оригинальное. И дело тут, пожалуй, не только в недооценке собственных возможностей или лени, а, скорее, в ореоле исключительности, которым отмечены некоторые профессии и должности.

— Да, социальная ориентация не всегда способствует расцвету природных способностей. Тут есть над чем подумать.

— Так дайте дельный совет, как человеку открыть в себе свой талант?

— Надо хотя бы начать трудиться... Как иначе узнаешь, чем наградила тебя природа? Уже само желание трудиться делает человека предрасположенным к творчеству, а народ — жизнеспособным. Трудолюбивому человеку и созидающему народу не грозит гибель от внутреннего разложения.

Что может быть прекрасней?

Беседы с писателями интересны кроме всего прочего тем, что они бесконечны. Их можно начинать вновь и вновь, задавать новые и новые вопросы, которые ставит перед тобой жизнь. И литератор никогда не откажет в ответе — стоит лишь взять с полки и открыть его книгу. Так и поступаю сейчас: вот беловский «Лад», вот его «Раздумья на родине». И я продолжаю разговор с писателем, теперь уже заочный:

— Почему же все-таки стольким из нас так и не удается проложить свою дорогу в жизни? Найти свое место в ней и раскрыть свои способности? Или жизнь настолько сложна и трудна, что лишь одиночки могут рассчитывать на успех? Нет, я не требую универсальной формулы счастья, но есть, наверное, должно быть средство, которое закалило бы внутренние силы человека и дало ему возможность противостоять ударам судьбы?

— Любой разлад в жизни — семейный, общественный или мировой — может помешать последовательности становления личности. Поэтому так важно, чтобы в младенчестве и в детстве над личностью не совершалось никакого насилия. Много ли нужно ребенку, чтобы расти счастливо и свободно? А мы... Обычно насилие взрослых над детской душой оправдывает благими намерениями: ребенок, мол, должен! Никому он ничего не должен. Это мы должны всячески поддерживать в нем ценную способность к творчеству и самосовершенствованию. Поддерживать до тех пор, пока он не обретет достаточный опыт и нравственную силу, чтобы дальше уже лепить себя самостоятельно. Эта способность в той или иной мере присутствует в каждом человеке. Она теснейшим образом связана с критическим отношением к себе и к окружающему миру, с умением различать добро и зло.

— Совесть, одним словом.

— Ни в каком возрасте не поздно обратиться к ней. Лев Николаевич Толстой всю жизнь, до самой смерти, воспитывал сам себя.

— Но даже ему не удалось достичь идеала. На то он, видимо, и идеал, что не дается никому в руки.

— Ну, а кому и когда помешало стремление к идеалу? Если человек не стремится к идеалу и совершенству, у него теряются и самые малые индивидуальные возможности. А если стремится, да еще всей душой, то появляются новые, даже неожиданные для него возможности. Что может быть прекрасней таких неожиданностей?